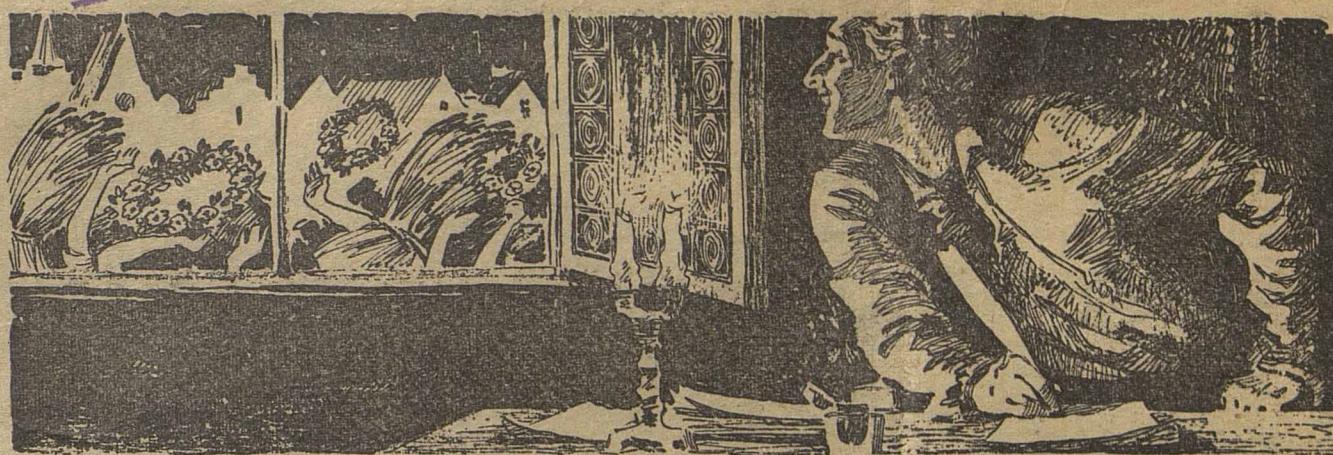


11 ФЕВ 1961



Шопен в письмах

ШОПЕН написано очень много. О музыке и о человеке. И все же лучше всего рассказал о себе сам Шопен. В своих письмах. Читаешь их и постепенно оказываясь под обаянием личности Шопена. Проникаешь в его мысли, чувства, входишь в его мир. И тебя начинает поражать простота, непосредственность и необыкновенное благородство этого человека. Шопен в письмах — сдержанный, «земной». Там, где дело касается творчества, он становится необыкновенно лаконичным. Он пишет: «закончил... написал... потом я импровизировал...» И все. Сознательно наложенная печать молчания, какое-то «табу». Об этом не говорят. И потом — в музыке все сказано.

Зная ее, понимаешь, что именно таким мог быть Фридрих Шопен, не мог быть другим и не могли быть иными его письма. За ними встает живой Шопен настоящий, искренний, простой. Не окутанный романтической дымкой, а человек трезвый, умный, знающий жизнь, современную ему действительность и социальные взаимоотношения.

Письма Шопена можно назвать антиромантическими. Необыкновенная их прямота, скромность, естественность и «приземленность», — то, что сейчас вызывает в нас восхищение, в свое время воспринималось некоторыми современниками Шопена как что-то непонятное и искажающее тот возвышенный образ несравненного «Ариэля фортепиано», который они себе рисовали.

Эпистолярное наследие Шопена — письма человека необыкновенного ума, обаяния, острой наблюдательности и благородства. Невольно хочется сравнить его с другим человеком — с нашим Чеховым. «Шопен был чист как слеза», — сказал о нем художник Теофил Квят-

ковский. И вся переписка Шопена подтверждает слова его друга.

Жизнь великого польского композитора проходит в его письмах от первых, возможно лишь переписанных рукой шестилетнего Фридриха, стихотворений, которые он дарил в дни именин горячо любимым отцу и матери. Мы словно переживаем с ним его жизнь, делим одиночество, тоску по дому. Большого, без денег, едва от близких видим мы Шопена в последние годы жизни, но не слышим от него ни одной жалобы. А если иногда помимо воли она проскальзывала, он тут же тушил ее, замазывал, стирал штукой. Штукой над собой.

Двадцати лет Шопен навсегда покинул Warsaw. Но и в Париже он остался польским композитором. «Ты знаешь, — писал он своему другу в Польшу, — как я стремился постичь наше национальную музыку и что я отчасти достиг этого...».

В детстве он научился понимать свою страну, ее напевы, чтобы потом воплотить в звуках душу своего народа. Вся жизнь Шопена была овеяна теплом родины. Представьте себе юного Шопена на деревенском празднике, Шопена, записывающего слова деревенской частушки, играющего на скрипке танцующим крестьянам и самого танцующего среди них... Это не кадры биографического фильма, в котором автор сценария дал волю своей фантазии. Это восторженное сообщение пятнадцатилетнего мальчика, уже известного пианиста-виртуоза, «польского Моцарта», о празднике последнего колоса. Вот оно:

26 августа 1825

Любимые родители!

Я здоров, пиллюли принимаю, но их у

меня уже осталось немного. Часто вспоминаю о доме, и мне грустно, что в продолжение всех каникул я не видел самых для меня дорогих лиц... Самым интересным, возможно, за все мое пребывание в Шаффарне был позавчерашний день... Состоялся праздник урожая в двух деревнях. Мы как раз сидели за ужином, доедая последнее блюдо, когда издали донесся хор фальшивых дикантов и уже бабы, фальшиво [...] гнусящие через нос, и девицы голоса, во всю глотку немилосердно пищащие на полтона выше, и всему этому аккомпанировала одна — единственная скрипка, и та лишь с тремя струнами, которая после каждой пропетой строфы отзывалась сзади альтовым голосом. Встав из-за стола, мы с Домусем* покинули общество и выбежали во двор, где целая толпа народа медленно продвигалась, все ближе подходя к дому. Панна Агнешка Гузовская и панна Агнешка Турковская-Бокневская (sic!), ведомые двумя замужними женщинами — пани Яськовой и Мачковой, со снопами в руках, торжественно, с венками на головах предводительствовали жнецами. Образовав этакие колонны перед самым домом, они пропели все строфы, в которых каждому воздавалось по заслугам, а между прочим две строфы касались меня:

Перед домом зеленый куст,
Наш варшавянин худой как пес,
На гумне торчат жерди,
Наш варшавянин очень прыткий.

Сперва я не сообразил, что это относится ко мне; но потом, когда Яськувна диктовала мне всю песню, то, когда дошла до этих строф, она сказала: «А теперь про пана».

Я догадался, что вторая строфа является штукой той девки, за которой я несколькими часами раньше гонялся по полю с перевеслом [...]. Итак, пропев эту канту, две вышесказанные панны с венками идут в дом к Хозяину, в то время как два парня с ведрами, полными грязной воды, поджидают их у дверей в сенях, и так здорово обеих пан Агнешек [...] приветствовали, что у тех аж с носа капало, а в сенях образовался ручеек; сложили снопы и венки, а Фрыц** как рванет на скрипке добжинского ***, так что на дворе все ударились в пляс. Ночь стояла прекрасная, месяц и звезды светили, но все же пришлось вынести две свечки — для потчевавшего водкой эконома и для Фрыца, который хоть и на трех струнах, но так пиликал, как иной и на 4-х не сумеет.

Начались танцы, вальс и оберек, и чтобы вовлечь [в танец] парней, тихо стоявших по сторонам и только переступавших на месте, я пошел в первую пару вальса с панной Теклой, а потом с пани Дзевановской. Позже все так разошлись, что танцевали до упаду: «до упаду» — я употребляю в буквальном смысле, потому что несколько пар упало, задев босыми ногами за камень. Было уже 11 часов, когда Фрыцу принесли контрабас; он был еще хуже скрипки, всего лишь с одной струной. Дорвавшись до запыленного смычка, я как начал подыгрывать на контрабасе,

так что все сбежались посмотреть на двух Фрыцев — одного сонного [пилякающего] на скрипке, и второго, пиляющего на одностронном монохордном запыленном [...] контрабасе; но тут панна Людвика закричала «вон», так что пришлось вернуться, пожелать всем спокойной ночи и идти спать.

Вся компания разошлась со двора и направилась к корчме для продолжения веселья; там еще долго веселились, но хорошо ли, плохо ли, — не знаю, так как я об этом еще не спрашивал. Я был очень весел в этот вечер, — и бесконечно доволен по двум причинам. Недоставало четвертой струны, что тут делать? Откуда ее взять? Пошел я во двор, а там пан Леон и Войтек, с низкими [поклонами], просят меня раздобыть струну; я получил от пани Дзев [ановской] девять ниток и отдал им, а они скрутили из них струну, но уж так судьбе было угодно, чтобы танцевали при трех струнах, потому что только скрутили новую, как лопнула квинта, которую пришлось заменить только что сделанной. Во-вторых, панна Текла Божевская дважды со мной танцевала; я с ней по своему обыкновению много болтал, и поэтому меня называли ее милым и женихом, и лишь потом кто-то из парней вывел всех из заблуждения, и уж тогда даже мое имя знали, а портянка, когда я в первой паре с пани Дзевановской хотел танцевать, отозвалась: «Теперь пан Шопен с их Светостью...».

Это письмо Шопена входит в двухтомник его писем, издающийся Музгизом. На русском языке публикуется впервые.

Много лет спустя Шопен писал из Парижа родным: «Я никуда не пошел вечером, а сидел дома, один, напевая себе песни с берегов Вислы». Он знал Польшу, ее быт, пейзаж, ее музыку. Все это было дорого уже пятнадцатилетнему мальчику.

Мысли о судьбах родины в одну из сложнейших и трагических эпох в ее истории никогда не покидали Шопена. И вера в нее, в ее силы, в ее народ.

Г. КУХАРСКИЙ.

Рисунок П. Венделя.

* Домусь — Доминик Дзевановский, личный товарищ Шопена, в семье которого он проводил каникулы.

** Фрыц — уменьшительное от Фридриха.

*** Добжинский — танец или мелодия Добжинской земли (историческое название края, лежащего на границе между Пруссией и Мазовией).